

дежи — "Гуш Эмуним". В этом движении теснейшим образом переплетены национально-патриотический и религиозный факторы. Я думаю, что создание "Гуш Эмуним" наиболее сильный ответ Израиля на процесс дегенерации и вырождения левого европейского интеллектуала. Возмен рациональных спекуляций "Гуш Эмуним" предлагает возвращение к исполнению заповедей, к принципам "мицвот" как в личной, так и в общественной жизни. Воспитательное в своей основе, движение до сих пор лишено политической окраски. Оно выдвигает моральные принципы и национальные концепции в качестве базы своей деятельности. Есть обязательства и идеалы, которые стоят выше повседневной жизни, выше данного общества и уж, конечно, выше личности с ее разрушающим эгоизмом.

Западному миру предстоят еще большие испытания. Эпоха после Второй мировой войны дает немало доказательств успеха коммунистического продвижения в странах свободного мира. Коммунизм пытается посадить на свой поезд многочисленные народы постколониального периода и вложить им в руки не только свои идеи, но и смертельное оружие новейшего образца. Теоретически можно себе представить, что западная цивилизация стоит на краю пропасти, что ей угрожает Чингиз-Хан номер два.

Однако история не идет по столь прямым линиям. Гибель Западного мира не выглядит абсолютно неизбежной. Его судьба в значительной мере зависит от состояния Западного общества, способности к трезвому самоанализу и степени сопротивления. Я думаю, на Западе есть силы, готовые оценить грозящую опасность и остановить продвижение коммунизма прежде всего в духовной сфере. Необходимо поднять заново оценку культуры, старых традиций и сбросить духовное одичание, прививаемое левыми кругами.

Я вижу реальные симптомы возрождения и укрепления Западного мира, хотя западная демократия еще не сделала серьезного самоанализа. В этом очистительном процессе мы не можем и, я верю, не будем стоять в стороне.

Перевел с иврита Борис Орлов.

Борис ХАЗАНОВ

НОВАЯ РОССИЯ

"О чем же мы станем беседовать? У меня, вы знаете, всего одна идея, и если бы ненароком в моем мозгу оказались еще какие-нибудь идеи, они, конечно, тотчас прилепились бы к той одной: угодно ли это для вас?"

(Чаадаев в письме к Пушкину)

Вот я сижу и в который раз перебираю свои безутешные мысли. Пытаюсь извлечь из них какой-нибудь окончательный вывод. У меня в мозгу действительно только одна идея, и, о чем бы я ни подумал, все сходится к ней. Я думаю о своей стране и о том, что такое я сам перед лицом моей страны. Я знаю, что тут решается вопрос всей моей жизни, ведь если бы это было не так, я воспринимал бы феномен этой страны лишь как более или менее возвышенную абстракцию; я сказал бы себе, что эта страна огромна, хаотична и разнолика, что ее история несоизмерима с моей жизнью, что она непостижима, что

Выдержки из этой статьи опубликованы в газете "Наша страна".

ее просто нет. И что на самом деле я сопричастен лишь некоторой эмпирической реальности, более или менее неприглядной, и вопрос в том, чтобы определить свое отношение к этой реальности, избегая метафизических терминов, таких, как Россия, русский народ и пр.

В действительности это не так, и я ощущаю эту страну — всю страну — физически, как ощущают близость очень дорогого человека. И оттого, что я сознаю, до какой степени запуталась, до какой невыносимой черты дошла моя жизнь с этим близким мне человеком, я не нахожу в себе решимости свести проблему к простому вопросу перемены квартиры, не могу спокойно обдумать, где и на каких условиях я обрету для себя новый очаг. Мысль о новом супружестве меня не привлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и слишком русский человек для того, чтобы всерьез надеяться на пятом десятке жизни начать новую жизнь в качестве израильтянина, парижанина или американца. Проще всего было бы сказать: эта страна погибла, и с ней больше нечего делать.

Вот уже, по крайней мере, три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон — бежать, не оглядываясь, не прощаясь, не тратя времени на сборы и расставания, уехать, и чем дальше, тем лучше.

Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело — сматывайтесь. Это было бы какое-то нечеловеческое столпотворение. Самые знатные лагерные придурки, нарядчик, помпобыт, зав. столовой, побросали бы свои замечательные должности, свои теплые места и смешались бы с теми, кого совсем недавно отделяла от них социальная пропасть, не менее глубокая, чем пропасть, отделяющая рабочего от секретаря райкома. И начальник лагпункта, оперуполномоченный, часовые на вышках и вся псарня растерянно глядели бы на эту бегущую толпу и, может быть, втайне завидовали бы

им, а потом спохватились бы, что десять минут уже прошло, и с наслаждением заперли бы тех, кто не успел выбраться.

Я слышу вокруг себя: такой-то уехал. И такой-то уехал. Их становится с каждым днем все больше. Пустеет вокруг: все меньше остается друзей или тех, кто мог бы стать мне другом. Правда, такой-то все еще не добился визы, но и он непременно уедет. Что самое удивительное, этот Такой-то до такой степени полон решимости добиться своего, он так уверен в своей безнаказанности, он настолько сошел с ума, что даже не помышляет о том, чтобы скрываться. Наоборот: он трубит об этом на всех перекрестках, говорит и пишет, вызывает и настаивает, и похоже, что и его наконец выпустят — чтобы избавиться от него. "Выпустят!" Вот словечко, сделавшее излишними доводы и объяснения. Выпускают из клетки, из тюрьмы.

Если бы даже уехало только сто семей, если бы их, этих отпущенников, набралось всего полтора десятка, ситуация не перестала бы выглядеть невероятной и чудесной, и такой она останется навсегда для поколения людей, выросших в убеждении, что покинуть Советский Союз невозможно, как невозможно забросить камень так высоко, чтоб он не упал обратно. Это поколение, искалеченное страхом, ни в чем не продемонстрировало так свою увечность, как в своем понимании патриотизма. Ведь ему и в голову не приходило, что любовь к родине ничего не стоит, если известно, что родину нельзя покинуть. Оно не могло усвоить ту очевидную для нормального человека мысль, что условием любви может быть только свободный выбор возлюбленной и что принудительность патриотизма умерщвляет самую идею привязанности к отечеству. Вы можете сколько угодно сидеть дома, не чувствуя надобности выйти на улицу, но как только до вашего сознания доходит, что дверь заперта и у вас нет ключа, родной дом превращается для вас в тюрьму.

Поколение, к которому я принадлежу, знало и, можно сказать, всосало с молоком матери, что говорить на эти

темы не полагается. Самая мысль об отъезде была преступлением; высказанная вслух, она гарантировала лагерный срок, ибо ставила под сомнение коронный тезис о том, что мы живем в самом лучшем в мире государстве, где наконец достигнуто все, о чем мечтали спокон веков лучшие умы. Тут, как всегда, действовал закон двухэтажности, закон афишируемого и подразумеваемого, и радость по поводу воплотившихся грез весомо обеспечивалась безмолвным, но внятным предупреждением: а кто не радуется — пожалеет. Так вечно неунывающий массовик-затейник, называемый пропагандой, не давал скучать народу, хлопал в два прихлопа, и топал в два притопа, и призывал становиться в круг; а в дверях маячили розовые лица, револьвер желт. И вдруг как бы сама собой дверь, неизвестно почему, приоткрылась.

Но ведь это были люди, которые выросли в тюрьме. Здесь они учились говорить, на этом каменном полу ползали несмышленишами. Я знал человека, сидевшего много лет. Он со страхом думал о приближающемся конце срока. В лагере, что бы ни произошло, он, по крайней мере, знал, что ему обеспечена пайка в четыреста грамм и место на нарах. В лагере прошло полжизни, здесь были его друзья, прошлое, здесь все его знали и он знал всех. Лагерь был его отечеством. И он спрашивал себя, что он станет делать на воле. Кому он там нужен? Я хорошо понимал его. Я знал многих таких, как он. В конце концов я и сам когда-то вышел за ворота, испытывая противоречивые чувства: радость и растерянность. Растерянность была сильнее радости.

Сама собой — хоть и не без помощи властей — возникла теория о том, что нам нечего делать на воле. Теория, в известном смысле подобная теории о том, что свет вреден для зрения. Ожила легенда, которая должна объяснить, отчего мысль об эмиграции сама по себе, независимо от заповедей и запретов и независимо от преимуществ советского строя, невозможна, несообразна, позорна и противоестественна. Легенда эта состоит в том,

что истинно русский человек в силу коренных особенностей своей души не может жить на чужбине. Не нужен ему берег турецкий, и Африка ему не нужна. Он скажет: не надо рая, дайте родину мою. Если он писатель, ему не о чем писать, если он певец, то теряет голос и т.д. в бесчисленных вариациях, как будто бы не было или нет за границей русского языка, русской мысли, русского искусства и русской свободы. Поэтическая версия этого мифа заключается в том, что бесчеловечный Запад противопоставлен идеалистической русской душе, а прозаическая — в том, что за рубежом придется худо, так как там надо вкалывать. С этой точки зрения все мы являемся своеобразными инвалидами: не говорим на иностранных языках, ни ступить, ни молвить не умеем и не умеем трудиться.

Нечего и говорить о том, что коварнейший момент всей этой ситуации — тот, что уезжают евреи. Вопрос нелепым образом обернулся чем-то вроде проверки подлинности. Истинно русскому человеку лучшего доказательства и не надо. Народное самолюбие, народная подозрительность, народный патриотизм злорадно тычут в нас пальцами. Тысячи губ складываются в презрительную гримасу.

"Бегут. А-га! Бегут, как крысы. Что им Россия!.."

И это еще относительно благородная позиция, ибо в ней как будто содержится признание, что Россия в самом деле тонущий дредноут; можно встретить смерть, стоя на шканцах, а можно и спрыгнуть в воду. Я стараюсь вычленил из того, что говорится об эмиграции евреев, все принадлежащее собственно официальной точке зрения, так как очевидно, что она не заслуживает вовсе никакого уважения. Но в том-то и дело, что отделить "официальное" от "народного" нет никакой возможности. На самом деле то, что извергают газеты, то и есть vox populi.

Не видно, чтобы простой советский человек проявлял особую охоту рассуждать об эмиграции; не видно, чтобы эта тема его особенно воодушевляла. Когда же он все-

таки пытается сформулировать свое мнение, выясняется, что собственного мнения у него не существует. Обо всем, что выходит за пределы обыденного, советский человек говорит словами, вычитанными из "Огонька". Иногда он как будто чувствует, что за этими словами нет ничего — никаких чувств и никаких мыслей. Но это только подтверждает, что он не испытывает никакой нужды в собственном взгляде на вещи.

Он оскорблен, обижен. По его словам, оставить родину — это все равно, что изменить родине. С одной стороны, он представляет себе дело так, что за границей живется легко, там тепло и не нужно валенок, там можно спекулировать и наживаться, оттого они туда и едут. С другой стороны, он знает, что за границей безработица и власть капиталистов и что простаков ловит вражеская пропаганда; и вообще — там хорошо, где нас нет. Он похож на одного из героев Аверченко, который объяснял детям, что курить папиросы нехорошо — особенно такие плохие папиросы. И детям хотелось курить все подряд: сухие листья, подобранные на тротуаре окурки и роскошные длинные папиросы "Герцеговина-Флор".

Хочется бежать без оглядки — а куда, не так уж важно.

И не все ли равно, что о нас будут говорить. Ведь мы представители племени, чье дело при всех обстоятельствах проиграно. Как бы мы ни поступили, о нас скажут дурно. Что нам терять!

"Coelum, non animus...". Небо над головой меняет тот, кто бежит за море. Небо, а не душу. Я этот стих зазубрил с младых ногтей. Страх и впитанное с материнским молоком рабство мешают нам оттолкнуться от берега. Значит, мы недостойны называться свободными людьми, недостойны свободы. Как это всегда бывает, мы заслужили свою участь. Но я не желаю признать себя рабом — и не хочу отречься от матери. И я нашел выход. Я сформулировал для себя главную мысль, но я не виноват, если она покажется абсурдной. Абсурд-

ная истина порождается абсурдными обстоятельствами.

Как-то раз я присутствовал на сессии районного совета депутатов трудящихся, далеко от Москвы. Это было одно из немногих собраний такого рода, на которых мне пришлось побывать, и отнюдь не из тех, на которых принимают важные решения: я вообще не видел общественных собраний, на которых кто-нибудь что-нибудь бы решал; и все же я нахожу, что оно обогатило мой жизненный опыт. Обсуждалось положение дел в колхозах. Выступил местный прокурор. Он настаивал на решительных мерах для того, чтобы прекратить продолжающееся под разными предлогами бегство молодежи из села. Этот прокурор, говоривший с сильным деревенским акцентом и, очевидно, сам происходивший из деревни, не понимал, насколько нелепо звучали его слова. Но не о нем речь. На сессии выступила одна колхозница. В отличие от других ораторов она производила впечатление неглупой женщины. Она говорила о положении в их хозяйстве.

История до смешного напоминала ситуацию царя Авгия, но тут было не до смеха. Помещения для скота были настолько запущены, что коровы и телята стояли по брюхо в навозе. Через несколько месяцев они должны были утонуть.

Это была эпоха постановлений о крутом подъеме животноводства. Очистить стойла не было никакой возможности. Не найдя другого выхода, колхозники с большим трудом воздвигли новые помещения, а старые — бросили.

Я уважаю позицию патриотически настроенной интеллигенции, выражающей надежду, что рано или поздно некий очистительный поток омоет Россию — эти единственные в своем роде Авгиевы конюшни. Я только не вижу Геракла, способного выполнить необходимые канализационные мероприятия. Это не попытка состричь. Все черно впереди, и никогда еще не было столь ясного сознания всеобщей и невылазной беды, никогда я не чувствовал так отчетливо, что у всех нас и у наших де-

тей — ампутировано будущее. Мало было мук и унижений, вынесенных нашей страной, и когда-нибудь ее постигнет оглушительная расплата за то, чем она является сегодня. Спасением был бы, вероятно, распад империи, возникновение какой-нибудь федерации или возврат к международному статусу, аналогичному статусу Московского государства, — но это невозможно.

Куда же нам деваться? Бросить все?

Перед глазами, словно галлюцинация, стоит Русь — страна, куда лиса и кот привели доверчивого Буратино. В этой стране пасутся козы с выщипанными боками, вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители, а на перекрестках стоят свирепые городовые. "Права держи!" Сыщики нюхают воздух и подозревают самих себя. В этой стране, в полицейском участке, за столом, закапанным чернилами, густо храпит дежурный бульдог. В этой стране было двенадцать миллионов заключенных, и у каждого был свой доносчик, следовательно, в ней проживало двенадцать миллионов предателей. Это та самая страна, которую в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя.

"Бегут. Что им Россия!"

Что ж, в определенном смысле — я никогда не был патриотом. В своей стране я чувствовал себя ссыльно-поселенцем. Я привык стыдиться этой родины, где каждый день жизни — унижение, каждая встреча — как пощечина, где все — пейзаж и люди — оскорбляет взор. Но тайное чувство шепчет мне, что этот стыд есть род извращенной любви.

Не нам воротить нос от этой тьмы и слякоти, мы и сами, как говорится, концом копия вскормлены, — сами коротали вечера с коптилкой, потому что керосиновая лампа была для нас недоступной роскошью. Не об этом речь, а о том, что на этой искалеченной земле будто бы нашла приют величайшая душевность. На эту душевность указуют нам как на некое национальное сокровище, уникальный продукт вроде паюсной икры, и мы, дескать, лишимся его, уехав на чужбину. А я вижу

всеобщее помыкание друг другом и презрение к человеческой личности, вижу, как государственные служащие — а в России все государственные служащие — унижают и обкрадывают каждого, кто мало-мальски зависит от них, как мужчины топчут достоинство женщин и взрослые оскорбляют детей. Я вижу, какую ненависть вызывает в нашей стране всякое проявление утонченности — красота, талант и оригинальность. Все убогое и немудрящее, напротив, приветствуется. Каждый народ воображением своих писателей создает собственный идеальный портрет. В данном случае это портрет доброго, мягкосердечного и непрактичного человека, не умеющего копить и приобретать, наивного и бесхитростного, готового последнюю рубаху снять и отдать ближнему и превыше всего на свете ставящего правду, которую он понимает как справедливость. Я спрашиваю себя, насколько этот образ соответствует действительно сти.

"Бегут". Народ — советский народ — в нас не нуждается, кем бы мы себя ни объявляли: русскими, евреями или русскими евреями. По-моему, вопрос стоит не о том, могут или не могут оставаться в Советском Союзе евреи, еврейская судьба — это только парафраз судьбы интеллигенции в этой стране, судьбы ее культуры, и еврейское сиротство есть символ иного, духовного одиночества, порожденного крушением традиционной веры в "народ". Раньше все обстояло проще: существовало деспотическое правительство и народ, который простирали к нам руки, взывая, как предполагалось, о помощи. Сейчас — кругом одни обломки. Я отдаю себе отчет в том, что то, что я говорю, не разделяют многие интеллигенты еврейского происхождения: ведь им кажется, что они ощутили в себе зов библейских предков. (Правда, я подозреваю, что, по крайней мере, для некоторых из них "национальное самосознание еврейства в СССР" есть особая форма произрастания вбок, когда не дают расти прямо, — новая форма инакомыслия.) И вовсе я не собираюсь отречься от того, что я еврей. Я еврей

самой чистой воды, все мои предки до одного были евреи. Но в это слово я — для себя — вкладываю другой смысл. Я отстраняюсь от еврейского изоляционизма не только потому, что не верю в него, — роль евреев диаспоры представляется мне иной, да и скучно было бы жить "в себе", — но и потому, что я не считаю, что оскорбленная и поруганная человечность нашла единственное прибежище в еврейском народе. Высшим доводом в споре с оскорбленными евреями для Достоевского, как помним, было то, что "коренной нации" приходится еще горше. Спор таким образом свелся к вопросу, кому хуже; каждая сторона ревниво отстаивала эту привилегию. Я согласен, что евреи терпят бедствие, — еще бы, — а я всегда видел себя только среди тех, кто терпит бедствие. Но не они одни оскорблены и унижены. Евреи идут ко дну, потому что идет ко дну Россия. И поэтому я с ней.

Я знаю, что когда я буду лежать на дне сырой и скользкой ямы на Востряковском кладбище, под дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные частоколы, оперативные уполномоченные, стукачи и пьяницы. Меня будет преследовать кошмарный сон о стране, которая, подобно доисторическим животным, погибла оттого, что она была слишком большой, но последние слова, которые я оставляю ей, будут написаны по-русски.

В море обломков единственное, за что я могу уцепиться, это русский язык. Веру в язык я противопоставляю вере в народ — умершего бога. Религиозное отношение к языку кажется мне, впрочем, вполне еврейским.

Скажут: что за безумие твердить о языке без почвы и нации. Я могу ответить на это только то, о чем я уже писал в другом месте. Патриотизм в русском понимании слова мне чужд. Та Россия, которую я люблю, есть платоновская идея; в природе ее не существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна. Но вообразить себя в среде, где умолкла русская речь,

я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать.

Напрасно думают, что бред умалишенного отгораживает его от мира. Напротив: это его способ искать связь с миром. В моем одиночестве я знаю только один способ ломиться наружу. Безумие мое бредит по-русски.

Признаюсь, я не чувствую себя подготовленным к тому, чтобы стать гражданином Израиля. Я боюсь, что не смогу выполнить требования, которые вправе предъявить к нам маленькое отважное государство, отбивающееся от врагов, численно превосходящих его и вдохновляемых низкими побуждениями. Этому государству не нужны плаксивые погорельцы. Не нужны ему и высоколбые космополиты. Видите ли, между эмиграцией и иммиграцией есть большая разница, и со своей стороны я могу лишь завидовать счастливым, толкующим об обетованной земле отцов. Земля моих отцов — та, на которой я мыкаюсь сейчас. Или вообще никакая.

Я понимаю, что выстроить новые конюшни, а старые попросту бросить, вместо того чтобы взяться за расчистку, — это есть образец решения проблемы в истинно российском духе; на языке науки он именуется экстенсивным способом ведения хозяйства. Таким способом за исторически короткий промежуток были загажены огромные территории. (Последний пример — освоение целины.) Но в притче с коровниками сокрыто, по-моему, рациональное зерно. Разумеется, страна уже не может вернуться к былой изоляции, влияние внешнего мира будет ощущаться все сильнее, и в конце концов все это приведет к каким-то переменам. Но мы не доживем до подлинного возрождения. Не доживут и наши внуки. Мы будем влачить жалкое существование лишних людей, техническая интеллигенция будет мучиться сознанием того, что она служит дьяволу милитаризма, гуманитарная — проклинать себя за то, что продалась дьяволу демагогии, и в любом случае мы останемся иудеями в прямом и переносном смысле, презираемым народом

и неполноценными с точки зрения властей. Время от времени нас будут сажать в психиатрические больницы и лагеря, потом ненадолго нам посветит мартовское солнышко либерализации, чтоб вновь уступить место ледяным морозящим дождям, и так будет продолжаться до тех пор, пока все мы вместе с нашими правителями не угробимся в какой-нибудь грандиозной катастрофе — в какой-нибудь бессмысленной войне с желтым соседом. Нет, для нашего поколения есть другой выход.

История знает Новую Англию и Новую Голландию, знает примеры колоний, которые со временем, в силу закона обратного действия, подобного действию следствия на причину, оздоравливали и облагораживали метрополию. Нет надобности заниматься политической деятельностью. И бессмысленно обращаться к власти, которая по самой своей природе не способна нас понять. Но можно основать русскую колонию где-нибудь в Канаде, Австралии, в Новой Зеландии или вообще где угодно. Давайте сговоримся и махнем туда все. Там много места — в отличие от этой большой страны, где так тесно. Пускай в этой Новой России будет вначале только тысяча граждан. Она станет расти, как кристалл. Там, на новой земле, как на новой планете, мы взрастим нашу свободу, сохраним наш язык, наш образ мыслей, нашу культуру и нашу старую родину.

Июнь 1974

КРИТИКА



Владимир АЛЛОЙ

ПРОРЫВ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ

(читая стихи Иосифа Бродского)

"Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба".

Б. Пастернак

Если исчезает абсолютное, мир рушится. Бесшумно распадается он на тысячи осколков, равноправных, как части единого целого, но и бессмысленных уже, ибо целого нет. Тогда распадается "связь времен", связь людей, связь вещей. Делаются иллюзорными, исчезают и сами вещи, замещаясь своими качествами, признаками, проявлениями; зато признаки становятся самодовлеющими

**"И кажется порой, что нужно только
перегнать мотивы, отношенья,
среду, проблемы — и произойдет
событие..."**